

Иосиф Трофимов

Даугавпилсский университет, Латвия

Жизнестроительство и лесопользование (Л. Леонов, Б. Пастернак, М. Пришвин)

Вполне возможно, что появление в 1922 г. перевода книги гейдельбергского философа Генриха Риккерта «Философия жизни» и книги стихов Б. Пастернака «Сестра моя, жизнь» – случайность, но случайность симптоматическая. Витальность, «модная тема» по словам Г. Риккерта, не могла не стать таковой в связи с трагическими переживаниями окончания Первой мировой войны.

Еще острее стала проблема жизнестроительства в художественном сознании после окончания Второй мировой войны, когда философский контекст «жизни» стал подчеркнуто актуализированным, что выразилось и в названиях известных произведений («Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «Повесть о жизни» К. Паустовского, «Доктор Живаго» Б. Пастернака и др.).

Для русской интеллигенции философствование о жизни всегда было подчеркнуто актуально в первую очередь потому, что общественная практика чаще всего демонстрировала в лучшем случае индифферентность в отношении ценности присутствия человека в мире. В этом отношении не только остроумными, но и политически злободневными были замечания М. Зощенко в «Голубой книге» (1934) относительно выписок из «Русской Правды» (середина XIII века), регламентирующих наказания за убийства и телесные повреждения: «...цены за убийство, в общем счете, почти не превышали цен за драки и моральные оскорбления [...] Судя по данным ценам, интеллигенция мало ценилась в те времена. Конюхи и повара стоили несколько дороже»¹.

Витальная проблематика в литературе 1940–1950-х гг. воспринималась актуальной в силу эмоционального потрясения, испытанного как писателями, так и читателями в годы Второй мировой войны, когда над жизнью отдельно взятого человека и человечества в целом нависла отчетливо осознаваемая угроза.

¹ М. Зощенко, *Возвращенная молодость. Голубая книга. Перед восходом солнца*, Ленинград 1988, с. 176–177.

Борьба за мир в этих условиях выражалась не только в каких-либо политических акциях, но и в потребности формирования устойчивых жизнеутверждающих ориентаций.

Подчеркнутая демонстрация витализма типологически сближает ряд писателей, чье творчество временами идеологически противопоставлялось. Среди них особое место занимают Л. Леонов, М. Пришвин, Б. Пастернак. Работа Леонова над романом «Русский лес» (январь 1950 – декабрь 1953), Пришвина над повестью «Корабельная чаша» (март 1952 – декабрь 1953), Пастернака над романом «Доктор Живаго» (1945–1955) шла практически одновременно.

Для писателей этой типологической общности жизнестроительство обеспечивалось соблюдением ряда условий. Для Леонова – гуманизация общественно-политической системы и возвращение к истокам народной жизни; для Пришвина – соблюдение законов естественной (природной) эволюции и диалектика «надо» и «хочу»; для Пастернака – свобода выбора и укорененность в христианстве.

С изменением статуса «жизни» в условиях послевоенного времени меняется метафорическая семантика «леса». Если в XIX веке «лес» в художественном сознании соотносился с волчьими законами буржуазной системы отношений (см.: «Лес» А. Островского, «Медведь на воеводстве» М. Салтыкова-Щедрина и пр.²), то в XX веке законы леса скорее отождествлялись с естественным ходом исторического процесса.

В романе Леонова «Русский лес» мотив жизни с первых же страниц доминирует. Выделенное разрядкой «приглашение к жизни»³ позже варьируется в многочисленных ситуациях и значениях, среди которых важнейшей выступает сентенция: «Как всегда, изощренная логика предубеждения неохотно отступала перед ясной логикой жизни [...] жизнь всегда умней и убедительней любых выдумок» (Леонов, 40).

«Лес» при этом выступает не только как одна из отраслей народного хозяйства, но и как путь познания («Поля, сколько ни бродила по лесу, нарочно забираясь в дебри погуще, ничего путного пока не изобрела» – Леонов, 12); как фундаментальный источник существования («Пришел ты из лесу и возвращаясь в лес» – Леонов, 55). И, наконец, связь с лесом напрямую выступает как источник долголетия в размышлениях Ивана Матвеевича Вихрова:

² См.: «...покуда он лежал, в лесу само собой установленным порядком шло. Порядок этот, конечно, нельзя было назвать «благополучным», но ведь задача воеводства совсем не в том состоит, чтобы достигать какого-то мечтательного благополучия... [...] Ежели истари повелось, что волки с зайцев шкуру дерут, а коршуны и совы ворон ощипывают, то, хотя в таком «порядке» ничего благополучного нет, но так как это все-таки «порядок» – стало быть, и следует признать его за таковой. [...] Ни разу лес не изменил той физиономии, которая ему приличествовала. И днем и ночью он гремел миллионами голосов, из которых одни представляли агонизирующий вопль, другие – победный клик» (М. Салтыков-Щедрин, *Собрание сочинений в 20-ти томах*, т. 16, кн. 1, Москва 1974, с. 58–59).

³ Л. Леонов, *Собрание сочинений в 10-ти томах*, т. 9, Москва 1972, с. 10. Далее роман Л. Леонова цитируется по этому изданию с указанием страницы непосредственно в тексте статьи.

«...ему нередко ставили на вид, что продолжительность жизни лесников стоит всего лишь на четвертом месте после пчеловодов, священников и садовников» (Леонов, 58).

Но совершенная (долголетняя) жизнь – это одновременно и «совершенная биография» (Леонов, 59).

В итоге «лес» в романе Леонова становится емкой метафорой исторической судьбы России с ее трагическими, путаными тропами и вместе с тем с исключительной энергетической мощью, подорванной неразумным лесопользованием (читай – государственным правлением). «Лес» для Леонова – та среда, в которой пестовался русский дух, лесная душа русского человека, русская культура. Традиционная оппозиция «лес – культура» Леоновым практически снимается.

Близок к Леонову в актуализации «философии жизни» и жизни леса Пастернак. Уже в начале романа «Доктор Живаго» его герой, студент-медик, у постели умирающей Анны Ивановны, по ее просьбе («Ты должен что-то знать... Скажи мне что-нибудь... Успокой меня»⁴) «...прочел [...] экспромтом целую лекцию» о сущности и природе жизни и бессмертия, в которой и позитивистское неверие в возможность «воскресения» («В той грубейшей форме, как это утверждается для утешения слабейших, это мне чуждо» – Пастернак, 69), и толстовская энергия жизнеутверждения: «...все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях» (там же).

Потом к Живаго придут другие мысли, но в данном случае он скорее ближе к материализму, социально детерминируя природу бессмертия души человеческой: «Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других вы были, в других и останетесь» (там же).

Но что замечательно: буквально на следующей странице появляется образ «векового, непроходимого леса, черного как ночь» (Пастернак, 70), контекст которого углубит и сделает более определенной семантически известную поговорку «Жизнь прожить – не поле перейти», ставшую концовкой стихотворения «Гамлет», которым открывалась тетрадь «Стихотворения Юрия Живаго». В противопоставлении: «Жизнь прожить – перейти лес». Но «лес» – непроходим. Лес – как жизнь.

Едва ли Пастернака можно отнести к людям, для которых лес стал каждодневной потребностью. Но вместе с тем образ леса, шире – «растительного царства» – один из самых мифообразующих.

Ключом в понимании идеи романа Пастернака, где философема жизни заявлена уже фамилией главного персонажа – Живаго, является его спекуляция

⁴ Б. Пастернак, *Собрание сочинений в 5-ти томах*, т. 3, Москва 1990, с. 13. Далее цитация романа Б. Пастернака производится по этому изданию с указанием страницы непосредственно в тексте статьи.

по поводу природы исторического процесса: «Он снова думал, что историю, то, что называется ходом истории, он представляет себе не так как принято, и ему она рисуется наподобие жизни растительного царства. [...] Лес не передвигается, мы не можем его накрыть, подстеречь за переменою места. Мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой же неподвижности застигаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся жизнь общества, историю» (Пастернак, 448).

К этому можно добавить, что гибель людей во время боевой атаки представляется гибелью деревьев: «...падали во весь рост, как высокие деревья при валке леса» (Пастернак, 114). Кульминационным моментом в демонстрации мистерии жизни становится бой партизан в лесу, когда Живаго, подчиняясь исторической предопределенности, пусть даже вопреки логике обязательств, берет в руки оружие.

Но, безусловно, решающую роль в утверждении идеи жизнестроительства стал роман Леонова «Русский лес», который мог быть прочитанным и как роман «производственный», и как роман «мифологический». В мифологическом дискурсе роман обретает ряд поразительных типологических схождений с романом Б. Пастернака, на что указано Н. Лейдерманом: «Понятие «чудо жизни», даже не понятие, а некий образ-философема, играет центральную роль в системе координат другого романа, писавшегося одновременно с «Русским лесом» (кстати, в соседнем доме в поселке Переделкино), – а именно в «Докторе Живаго» Пастернака. У Пастернака тоже «чудо жизни» – это исходная онтологическая категория, незыблемая основа человеческого существования и извод всей иерархии духовных ценностей. Но в отличие от «Русского леса», над миром природы как изводом человеческого существования у Пастернака возвышается взращенный ею духовный мир, освященный образом Иисуса Христа»⁵.

Для нас «отличия» в романах «Доктор Живаго» и «Русский лес» менее существенны, чем «схождения». А «схождения» начинаются с той же «лекции» о жизни, в идеологической структуре романа играющей не последнюю роль. Речь идет о «скандале» на «сборище» у Грацианских, где студент Вихров высказывается о «личном бессмертии души», отвечая профессору канонического права, который «...пространно, с привлечением текстов из Оригена и Августина, излагал свою точку зрения» (Леонов, 162).

О чем говорит студент-естественник Вихров? – «...моя наука учит меня, что все живые организмы умирают прочно. [...] смешные притязанья на загробное бытие свойственны главным образом тем, кто ничем иным, героическим или в должной мере полезным, не сумел закрепить в памяти живых, что единственно и может являться настоящим бессмертием» (Леонов, 163).

В завязавшийся спор вступает и Грацианский: «...Саша Грацианский всунул в образовавшуюся паузу свою теоричку, согласно которой человек при рождении ничем не отличается от животного, но повседневным упражнением в молитве, творчеством или частым созерцанием божества выращивает и ум-

⁵ Н. Лейдерман, *Парадоксы «Русского леса»*, «Вопросы литературы» 2000, № 6, с. 57.

ножает тело своей души, откуда с наглядностью следует, что посмертное долголетие особи прямо пропорционально количеству проделанной ею над собой морально-нравственной работы» (Леонов, 164).

Марксист и революционер Валерий Крайнов, в общественной жизни строгий рационалист и прагматик, выявляет классовую природу мифотворчества бессмертия: «У богатых жажда бессмертия выражается в стремлении продлить воспоминания о благоустроенной квартире, о хорошо оплачиваемой, хотя зачастую и бесполезной должности [...] Вместе с тем вполне понятно стремление бедных продлить себя в потустороннем царстве: ведь призраки не боятся родовых, не зависят от эксплуататора, не нуждаются в хлебе, одежде и жилье» (Леонов, 165).

Здесь, собственно, каждый выстраивает свой духовный мир, над которым возвышается то ли марксистская теория, то ли Отцы Церкви, то ли абстрактное морализаторство. У Вихрова – Калина, образ скорее языческого происхождения, чем социально-исторического: «Здесь Вихрову почему-то вспомнился Калина, его неомраченная улыбка перед неизбежным, его готовность пойти на любой переплав, потому что в том-то и состоит справедливость природы, чтобы все побывало в сем» (Леонов, 163).

Значительность витальной проблематики романа Леонова осознавалась литературной критикой при первом же его прочтении. Классическая статья М. Щеглова с первой страницы на это обращала внимание: «Народнохозяйственная (очень важная и интересная) проблема лесоустройства представлена в романе Л. Леонова в самом широком плане – как тема жизни, определяющая всю сюжетную, образную, идейную связь романа»⁶.

Но дальше уже запросы общественно-политической ситуации диктовали актуализацию тех или иных мотивов. Так на первый план выступают мотивы нравственного порядка и подвергается заметному осуждению любого рода мифологизация. Но дело в том, что мифологический подтекст романа Леонова не менее существен, чем романа Пастернака. Раздражающие читателя и по сей день таинственные, мистические совпадения у того и другого как раз и призваны выявить онтологическую природу как жизни, так и смерти. Символическая встреча Ивана Вихрова в конце романа Леонова с мальчиком, носящим имя Калины, ставшим «для него священным», воспринимается как «самое обыкновенное в природе продолжение жизни» (Леонов, 723).

Так же и у Пастернака таинственное стечение обстоятельств при фатальной людской разобщенности формирует мифологему смерти как искусственно-го прерывания в принципе непрерывного потока жизни: «Скончавшийся изуродованный был рядовой запаса Гимазетдин, кричавший в лесу офицер – его сын, подпоручик Галиуллин, сестра была Лара, Гордон и Живаго – свидетели, все они были вместе, все были рядом, и они не узнали друг друга» (Пастернак, 120).

⁶ М. Щеглов, «Русский лес» Леонида Леонова, [в:] М. Щеглов, *Любите людей*, Москва 1987, с. 275.

В «Корабельной чаше» М. Пришвина дети, ищущие отца, «случайно» встречаются с Мануйло, который мог бы указать им путь. Но не «узнали» они друг в друге свой интерес. Для Пришвина это «совпадение» также откровенно мифологизировано: «Так, может быть, и все мы около правды истинной ходим и обходим ее: она тут рядом, ее можно рукой достать, а нас направляют в какой-то сузем, далеко, в дикий лес, спрашивать об отце дикую березку...»⁷.

Мифологизируя образ жизни, Пришвин, для которого Блудово болото – Кладовая солнца⁸, быть может, пошел еще дальше, чем Пастернак и Леонов. Идеи его «сказки» «Кладовая солнца» найдут развитие и завершение в повести «Корабельная чаша» (последняя страница повести написана за несколько месяцев до смерти автора).

Пришвин в повести «Корабельная чаша» жизнь человека и жизнь дерева рассматривает в одном и том же онтологическом контексте «истинной правды», которая «обнимает Вселенную и еще дальше, всё, что там за Вселенной, и без конца» (Пришвин, 233).

И «В этом сближении людей и деревьев, – замечает Пришвин в другом месте, – нет ничего особенного [...] для солнца все одинаковы, что деревья, что люди – у тех и других для солнца природа одна» (Пришвин, 223).

Диалектикой взаимодействия «хочу» и «надо» (в «Осударевой дороге»), эгоистической потребности «счастья» и равно для всех требовательной «правды» (в «Корабельной чаше») в конечном счете и определяется логика исторического процесса, где деятельность человека обретает смысл лишь в том случае, если она сопряжена с деятельностью стихийных сил природы.

Для Пришвина жизнь – это прежде всего природа во всем богатстве своих проявлений. Этика природы – в принципе эталон общественных отношений. Высшая ценность – приумножение жизни, что достигается лишь физической и духовной потребностью «выйти из себя». Притча в начале романа «Осударева дорога», содержащая так называемую «домашнюю теорию» автора, поясняет, что это такое: «Раз было на моих глазах: по тонкому, запорошенному первым снегом льду пробежала осторожно гонная лисица, а через несколько минут на этот след налетел безумный выжлец. Лисица осторожно, по-лисьему прошла тонким льдом, а грузный костромич провалился среди озера. Лед на краях провала обламывался под его лапами, и вылезть ему было невозможно: лучший гонец в нашей округе был обречен на гибель в гонный день первой великолепной пороши.

Но прибежал его хозяин и, увидев своего друга в таком положении, быстро изорвал свою рубашку, связал веревку, сделал петлю, дополз на четвереньках по льду до собаки, накинул петлю и вытащил. Так охотник «вышел из себя», чтобы спасти своего выжльца. Но спасенный выжлец, тоже не помня

⁷ М. Пришвин, *Собрание сочинений в 8-и томах*, т. 6, Москва 1984, с. 279. Далее М. Пришвин цитируется по этому изданию с указанием страницы непосредственно в тексте статьи.

⁸ О мифопозитке «Кладовой солнца» М. Пришвина см.: И. Трофимов, *Мифологема блудово болото в рассказе М.М. Пришвина «Кладовая солнца»*, „Respectus philologicus“ 2004 № 6 (11), с. 100–108.

себя, помчался за той же лисой. Охотник без рубахи, изорванной на веревку, в одном ватнике, перехватывая лису с круга на круг, наконец встретился с ней и убил» (Пришвин, 7).

«Домашняя теория» Пришвина, так сказать – для внутреннего пользования, близка по духу к дарвинистскому биологизму, оказавшему известное влияние и на характер общественных отношений с их ориентацией на дионисийство. Г. Риккерт, критически оценивая биологизм подобного рода, вместе с тем замечает: «Мы видим, что вечные законы, которые приводили к уничтожению несовершенного в борьбе за существование, с необходимостью направляют мир к его подлинной цели, заставляя его делаться все более совершенным. Закон природы в то же время и закон прогресса. Естественное развитие равносильно приближению к благой цели»⁹.

Отсюда, казалось бы, совсем близко и до имморализма Ницше с его «волей к жизни». Но все-таки путь Пришвина, освещенный русской литературной традицией, восходящей в первую очередь к Л. Толстому, иной. Своеволие человека в его жизненном напоре решительно ограничивается «правдой», которая в «Корабельной чаше» иллюстрируется судьбой елочки, попавшей по игре случая «...в тень великой сосны: такая первая материнская тень охраняет ростки от ожогов мороза и солнца» (Пришвин, 217). Но остаться навечно в тени – «...ей это было, как верная смерть» (Пришвин, 218). И более ста лет ждет угнетенная елочка своего часа, когда созревшая сосна пойдет на нужное дело.

Идеалом жизнестроительства становится заповедная чаща, где нет «...ни одного лишнего дерева [...] срубишь – оно не падает, а остается стоять меж другими, как живое» (Пришвин, 221).

Как и Леонов в «Русском лесе», так и Пришвин в «Корабельной чаше» ставят вопрос о границах лесопользования как жизнестроительства. По одну сторону у Пришвина народ Коми: «...эту Сосновую чашу в немеряных лесах мы таим, и весь народ наш таит. И вас я прошу, не показывайте этот лес никому из начальства: мы в Коми с этой тайной растем. [...] Человеку часто в наших лесах надо таиться, чтобы только жизнь свою сохранить» (Пришвин, 270–271). По другую – лесник Василий Веселкин, отец известных по «Кладовой солнца» Митраши и Насти, в госпитале еще переживающий войну. Ему «...и в голову не приходило, чтобы могла быть помеха в этой войне, он ни на мгновение не сомневался, что люди, укрывающие Корабельную чашу, поймут его с первых слов и отдадут сокровище свое на дело спасение родины» (Пришвин, 272).

Словно в продолжение спора Вихрова с Грацианским складывается спор Ивана Назарыча, «самого скромного гражданина в мире» и некоего «пришельца, будто бы инструктора канадского лесопиления». По одну сторону: «...да какая же в этом правда, что пилить леса и пилить. Если в этом одном будет правда и все мы будем пилить по-канадски, то кто же их будет растить и хранить?». По другую: «А зачем их растить? [...] мы же скоро перейдем на камен-

⁹ Г. Риккерт, *Философия жизни*, Минск 2000, с. 112–113.

ный уголь. [...] люди за леса держатся из-за робости, и лес делается аккумулятором всего отсталого, всякой косности, он консервативен, как старая баба, и чем скорей мы с этой зеленой дрянью покончим, тем свободней, лучше нам будет жить» (см.: Пришвин, 347–348).

Но дело в том, что в одиночку (ни человеку, ни цивилизации) не спастись. В этом видится и предупреждение, и урок великих жизнестроителей русской литературы первого послевоенного десятилетия.

Литература

- М. Зощенко, *Возвращенная молодость. Голубая книга. Перед восходом солнца*, Ленинград 1988, с. 176–177
- Л. Леонов, *Собрание сочинений в 10-ти томах*, т. 9, Москва 1972
- Б. Пастернак, *Собрание сочинений в 5-ти томах*, т. 3, Москва 1990
- М. Пришвин, *Собрание сочинений в 8-и томах*, т. 6, Москва 1984
- Г. Риккерт, *Философия жизни*, Минск 2000, с. 112–113
- М. Салтыков-Щедрин, *Собрание сочинений в 20-ти томах*, т. 16, кн. 1, Москва 1974
- М. Щеглов, *Любите людей*, Москва 1987, с. 275
- Н. Лейдерман, *Парадоксы «Русского леса»*, «Вопросы литературы» 2000, № 6, с. 57
- И. Трофимов, *Мифологема блудово болото в рассказе М.М. Пришвина «Кладовая солнца»*, „Respectus philologicus” 2004, № 6 (11), с. 100–108